

УДК 1:3 + 1:93

В.Н. Сыров**К ВОПРОСУ О НАРРАТИВНОЙ ПРИРОДЕ СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАЛЬНОСТИ И ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО НАРРАТИВА**

Обсуждаются проблемы онтологического и эпистемологического статуса и функций нарратива. Анализируется идея феноменолога Д. Карра о соотношении между нарративами и реальностью. Основная идея статьи состоит в утверждении и обосновании тезиса, что исторические нарративы представляют собой не реконструкцию или воспроизведение, а реконфигурацию нарративности самой социальной реальности или переописание тех первичных нарративов, что конституируют реальность как таковую.

Ключевые слова: философия истории, историческое познание, нарратив, исторический нарратив, темпоральность.

Один из современных феноменологов Д. Карр вполне справедливо заметил, что «краткий обзор наиболее значительных современных взглядов на нарратив демонстрирует не только то, что нарративная структура утверждается как черта художественных и исторических произведений, но также и то, что данная структура рассматривается как нечто, принадлежащее только им» [1. С. 15]. Такой подход, продолжает он, неизбежно приводит к тому, что повествования становятся чуждыми тому миру, который авторы пытаются описать, в силу чуждости ему самой формы нарратива. Данная установка нашла свое выражение в известной фразе американского исследователя Л. Минка: «Истории не проживаются, но рассказываются. Жизнь не имеет начала, середины и финала» [2. С. 60]. Если это так, то, как подчеркивает Карр, нарративное изображение реальности будет либо выполнять эскапистскую функцию, или функцию «бегства» от действительности, либо стремиться «навязать моральное видение мира в интересах господства и манипуляции» [1. С. 15–16].

Обращение к данному развороту темы не случайно. Во-первых, в современной западной и отечественной литературе тема нарратива и его роли в понимании и организации социальной и культурной жизни достаточно распространена. Иногда по аналогии с «лингвистическим поворотом» утверждают о «нарративистском повороте» [3. С. 61–87]. Во-вторых, вопрос о роли нарратива в историческом познании носит даже более почтенный характер, и можно говорить, что обсуждение этой темы стало одной из предпосылок «нарративистского поворота». В-третьих, если сохраняются притязания истории на научность, то нельзя пройти мимо вопроса о соотношении нарративов и представленного в них мира. Ведь если нарративы представляют собой лишь форму, совершенно чуждую содержанию, то их функция в социальном и культурном пространстве предопределена (быть мифом или идеологией, но не знанием), что бы об этом не говорили рассказчики или авторы историй. И наконец, в-четвертых, очевидно, что тема соотношения истори-

ческого нарратива и реальности является частным случаем более общей темы соотношения текста и действительности.

Оригинальность пути, предложенного Карром в работе «Время, нарратив и история» (1986), а также известным английским философом А. Макинтайром в нашумевшем труде «После добродетели» (1981), состояла в том, чтобы расширить сферу применения идеи нарратива, а именно показать, что его черты присущи повседневной жизни и социальному миру в целом. Основной отстаиваемый ими тезис заключался в утверждении, что нарративно устроена сама человеческая реальность, а не только способы ее описания. Как заметил по этому поводу Карр, «действительное различие между «искусством» и «жизнью» состоит не в противопоставлении организации хаосу, а в отсутствии в жизни такой точки зрения, которая трансформировала бы события в историю рассказом о них» [1. С. 59]. Очевидно, что применение такой стратегии должно было существенно изменить проблему репрезентации, поскольку нарративно оформленные описания представляли тогда не оппозицией, а отражением, расширением или трансформацией нарративно организованного человеческого бытия.

Для того чтобы обосновать тезис о нарративном устройстве социальной реальности, Карр предпринял анализ темпоральной природы форм восприятия и действия или, в его терминологии, пассивного и активного опыта. Темпоральность предполагает, что схватывание объектов как целостностей осуществляется посредством применения процедур, в основе которых лежит время. Но временной характер восприятия или восприятие последовательностей не следует трактовать как последовательность восприятий. Как справедливо отмечал Э. Гуссерль, идеи которого (как и идеи М. Хайдеггера) легли в основу положений Карра, предшествующие концепции восприятия исходили из своеобразной «догмы моментальности сознания целого», или допущения, что целостный образ воспринимаемого объекта схватывается мгновенно. Предполагалось, что сознание делает как бы мгновенные слепки с представляемых объектов, а затем складывает их в общую картину. Такое представление кажется само собой разумеющимся, пока речь идет о восприятии некоторых неизменных объектов, но сталкивается с трудностями, когда дело касается схватывания так называемых «временных объектов». «Под временными объектами в данном контексте мы понимаем объекты, которые не только представляют собой единства во времени, но содержат также в себе временное протяжение» [4. С. 25]. Наиболее показательным в этом отношении слушание мелодии, которая с данных позиций должна восприниматься в виде последовательности тонов, схватываемых как некоторые неделимые целостности. Но очевидно, что, с одной стороны, мелодия не воспринимается как целое сразу в силу ее временного растяжения, а с другой стороны, воспринимается нами именно как мелодия, а не последовательность тонов. Кроме того, как писал Гуссерль, «...все сказанное можно отнести и к отдельному тону» [4. С. 26]. Это означает, что и отдельный тон мы не можем считать некоторым вневременным целым, а должны трактовать его как следствие акта, который «частью является воспоминанием, в своей наименьшей, точечной части – восприятием, в более обширной части – ожиданием» [4. С. 26].

Таким образом, процедуру схватывания следовало уподобить не обобщению потока мгновенных вневременных слепков или образов с воспринимаемого объекта посредством их накладывания друг на друга и отождествления путем нахождения сходств и отбрасывания различий, а складыванию частей в целое, когда каждая часть приобретает значение только в контексте длящегося целого и сохраняет его только в отношении к чему-то до- и после-. Схватывание целостности объекта тем самым, вне зависимости от того, является ли он единством во времени или временной последовательностью, следовало представлять как временное растяжение или временное простираание. Это означало, образно говоря, что не объекты находятся во времени или проходят через временной поток, а они и есть само возникающее, длящееся и уходящее время.

Следующий аспект рассуждений Карра состоял в определении характера процедуры схватывания. Он подчеркивал, что «великий вклад Гуссерля лежит в его полагании особой формы памяти, которую он называет первичной памятью, или ретенцией, и в резком различении, которое он проводит между ею и памятью в обычном смысле, вторичной памятью, или воспоминанием. Действительно, они представляют собой сознание прошлого, но их функции в жизни сознания совершенно различны» [1. С. 21]. То же касается различения «протенции», или ожидания и проектирования будущего. Ретенция, как и протенция, являются составными частями схватывания объекта как целостности. Вторичная же память выполняет функцию воспроизведения в сознании некогда воспринятого объекта. Поэтому воспоминания, отмечал Карр, как форма опыта могут быть или не быть, приходиться и уходить, ретенция же является необходимым элементом любого опыта [1. С. 22]. Тем самым схватывание любого объекта как целостности носит структурный характер, складывающийся из ретенции, импресии и протенции.

Еще один шаг был связан с определением характера настоящего. При данном подходе его уже нельзя представлять как последовательность «теперь», или мгновений, приходящих из будущего и ниспадающих в прошлое. Если «теперь» есть восприятие (не воспоминание или ожидание) или схватывание какого-либо объекта, то оно само складывается из ретенции, импресии и протенции. Как подчеркивал Гуссерль, «если же мы называем восприятие актом, в котором заключен всякий первично конститутивный «источник», тогда первичная память есть восприятие» [4. С. 45]. Следовательно, ретенция и протенция представляют собой не краткосрочные воспоминания или ожидания, а структурные элементы, из которых складывается опыт того, что мы называем настоящим. Образно говоря, настоящее длится, тянется, растягивается, включая в себя или складываясь из моментов, которые уже прошли, проходят и пройдут, но тем не менее относятся к настоящему. Как указывал известный французский феноменолог М. Мерло-Понти, «прошлое и будущее не могут быть простыми понятиями, которые мы образывали посредством абстракции от наших восприятий и воспоминаний... Временные отношения делают возможными события во времени» [5. С. 275]. Вот почему можно говорить, что настоящее содержит прошлое и будущее и какое прошлое и будущее оно содержит.

Если схватывание объекта как целостности происходит таким образом, то, как следствие, становится возможным утверждать, что его воспоминание будет строиться в соответствии с той же самой структурой. «...Очевидно, что полный феномен воспоминания обладает точно таким же конституированием, как и восприятие...» [4. С. 39]. То же относится к определению характера прошлого (впрочем, как и будущего), которое также следует полагать как начинающуюся, длящуюся и завершающуюся протяженность. Тем самым феноменологические изыскания позволяли трактовать время как непрерывный, но дифференцированный и структурированный поток, где схватывание каждого объекта, его воспоминание и проектирование, а также полагание частей самого времени (прошлого, настоящего и будущего) обладают одной и той же структурой или осуществляются в контексте своеобразного горизонта, предполагающего задний (ретенция) и передний (протенция) планы и призванного создавать целостность как самих объектов, так и частей времени.

Данный анализ позволял распространить темпоральную структуру не только на пассивный, но и на активный опыт и говорить о временной природе не только актов сознания, но и действия. Кажется очевидным, что любое действие темпорально растянуто, а его осуществление складывается из совокупности различных отдельных фаз. Но эти фазы следует представлять не в виде серии самостоятельных актов, которые потом суммируются в общую картину, а в виде частей, которые имеют значение только в контексте осуществления целого. Так, если мы считаем действием «играть в футбол», то должны рассматривать такие акты, как «пинать мяч», «бежать за ним» и т.д., в качестве фаз, составляющих целостность действия «играть в футбол», а не в качестве отдельных действий, несмотря на их хронологическую разделенность. Это не исключает того, что каждую из фаз можно рассмотреть как отдельное самостоятельное действие, но тогда это уже не действие «играть в футбол». В то же время эти отдельные действия будут представлять как складывающиеся из отдельных фаз. Естественно, что схватывание целостности действия происходит посредством той же структуры, которая включает в себя начало, середину и финал и может рассматриваться как аналог ретенции, импрессии и протенции.

Согласно размышлениям Хайдеггера, когда мы вовлечены в действие, направленность нашего внимания устремлена в будущее. При этом «вперед-себя-бытие означает не что-то вроде изолированной тенденции в безмирном «субъекте», но характеризует бытие-в-мире» [6. С. 192]. Иначе говоря, если опыт восприятия предполагает ориентацию на «настоящее» (импрессию), для которого «прошлое» (ретенция) и «будущее» (протенция) являются горизонтом, то действие строится в расчете на «будущее», для которого роль горизонта играют «настоящее» и «прошлое». Собственно, таково существо хайдеггеровской «заботы», которая призвана обозначить своеобразие характера человеческих действий. При таком понимании она становится не чем-то вроде акта или порыва воли, который может овладеть или не овладеть индивидом. Пресловутая забота также не свидетельствует о приоритете практики над теорией. В хайдеггеровском смысле она представляет собой условие целостности человеческого бытия вне зависимости от степени ее осознанности

индивидами. Можно сказать, что она играет роль контекста, в рамках которого становятся понятными смысл, характер, организация всех форм проявления человеческой активности. А это означает, что в процессе осуществления действия «будущее» (впрочем, как и «прошлое») не является некоторой отдельной ментальной картиной, которая к нему присоединяется. Иначе оно было бы действительно будущим в том смысле, в каком вторичная память отличается от ретенции. Но если действие есть нечто осуществляемое, то «будущее» – это часть его реализации, воплощающая его направленность и завершенность, а не отдельный самостоятельный акт. При этом саму завершенность следует понимать не как сознательную направленность на результат действия, а как условие понимания смысла (целостности) и осуществленности действия в целом. Как следствие структура, создающая целостность действия, обеспечивает и его статус как бытия в настоящем.

Важно отметить, что данный подход, последовательно проводимый и отстаиваемый Карром, требует толковать временность как основание человеческого бытия в целом, а не сводить его к особенностям человеческой практики или восприятия. Это означает, что время не частный аспект человеческой активности и не объект представления или субъективный способ восприятия окружающей действительности в противовес подлинной (вневременной) сущности вещей. Временная структура не только лежит в основе понимания всех форм человеческого бытия, но и конституирует самое бытие, создавая хотя и своеобразную, но реальность человеческого бытия. Поэтому мир, как и сам человек, обретает действительность благодаря работе структуры, складывающейся из компонентов, которые можно обозначить как «ретенция-импрессия-протенция», или «начало-середина-финал», и которые Хайдеггер называл «эк-стазами временности» в виде настоящего, бывшести, актуальности [6. С. 329].

Отсюда вытекают важные следствия, необходимые для разворачивания темы, актуализированной Карром. Прежде всего, становится очевидным тождество темпоральной и нарративной структуры, поскольку нарратив выступает способом организации самих событий, а именно их распределения и связности посредством конституирующей структуры, включающей в себя «происхождение (начало) – цель (финал) – реализацию цели (середина)». Второе следствие состоит в подчеркивании контекстуальности любого человеческого акта. Это означает, что любое восприятие и действие следует представлять не как сумму отдельных актов или фактов, конфигурируемых задним числом, а как связную целостность, где каждый отдельный компонент понимается и осуществляется только посредством горизонта или окружения, предполагающего наличие компонентов до- и после-. Третье следствие заключается в акцентировании нарративной конституированности Я. Это означает, что Я (или идентичность) само является следствием работы темпорально организованных структур и конституируется (производится) ими. Как пишет Карр, «темпоральность опыта темпорального объекта сама по себе является не объектом, а структурной чертой опыта» [1. С. 26]. Поэтому Я следует трактовать как темпорально протяженную целостность, например: «Я есть тот, кто произошел (начало) для того, чтобы нечто (финал) осуществлять (середина)».

Четвертое следствие, которое можно выделить особо, касается протяженности нарратива. Карр подчеркивал, что поскольку человеческое бытие всегда есть со-бытие с другими, то другие в самых разнообразных модификациях всегда вовлечены в любой персональный нарратив и, более того, являются необходимыми условиями его конституирования. Но «действия и опыты других могут иметь особую форму, отличную от отношения обоюдной наррации, форму, которую мы можем описать как отношение предшественников и последователей» [1. С. 112]. Это позволяло расширить границы персонального нарратива за пределы рождения и смерти индивида, связав его бытие с бытием предшественников и наследников. Карр иллюстрировал основания такого расширения следующим примером. Любой исследователь, предлагающий обсуждение и решение какой-либо проблемы, пусть физической, вынужден обратиться к прошлому, понятому как время ее происхождения и совокупность сложившихся способов ее решения, поскольку в противном случае будет лишено объяснительной силы и оправданности его собственное предложение.

Данный ход позволяет говорить о темпоральном растяжении современности. Она может растягиваться для нас на десятилетия или столетия, но тем не менее оставаться современностью. Вот почему не все, что темпорально удалено от нас на десятилетия или столетия назад или вперед, автоматически становится прошлым или будущим. Понятно, что и даты сами по себе еще не являются индикаторами отнесенности к прошлому, настоящему или будущему. При этом в состав отрезка, который мы именуем современностью, могут включаться воспоминания («Мы – дети Октябрьской революции», к примеру) тех, кто живут или жили рядом с нами, а также осознанное и намеренное проговаривание тех хронологических моментов, которые еще не наступили. Вот почему фраза о том, что «мы строим светлое будущее», говорит не о будущем, а о реализующемся настоящем. Подобно тому, как задний и передний планы составляют горизонт восприятия объекта, идеи происхождения (почему) и предназначения (для чего) могут трактоваться как тот контекст или горизонт, в рамках которого мы понимаем смысл происходящего. Иначе говоря, происхождение, осуществление и предназначение составляют то целое, благодаря которому понимается каждая отдельная часть всей той протяженности, которую мы именуем настоящим.

Такое расширение нарративно организованной идентичности за счет включения в нее связи с предшественниками и последователями можно охарактеризовать как историчность человеческого бытия. Это дает основание связать нарративность с исторической мыслью в целом. Схема такой связи уже сформулирована выше. Прежде всего, меняется субъект наррации. Используя терминологию Карра, место Я-субъекта занимает Мы-субъект или та или иная форма сообщества. При этом, согласно Карру, «различие отчетливо проявляется в содержании, но не в форме» [1. С. 166]. Форма самоидентификации остается нарративной, но более благоприятной для историчности, поскольку бытие группы более расширено в пространстве и времени, чем бытие отдельного индивида. Но главное, с точки зрения Карра, заключается в том, что общность события, конституирующего историчность бытия сообщества, состоит не в его удаленности, масштабности или

темпоральной протяженности, а в его причастности к сотворению Мы. В этом смысле фраза «Мы – дети Октябрьской революции» и будет означать такое расширение темпоральности и нарративности, которое придает им исторический характер.

Специфика такой историчности состоит в ее дотематизированности. Суть ее не в отсутствии рефлексии над ней со стороны сообщества профессиональных историков. Раз происхождение является составной частью нарратива, конституирующего бытие сообщества, то нарративно организованная историчность будет представлять собой саму реальность, а не только форму ее осмысления. Поэтому суть дотематизированности в том, что она может быть эксплицитно не высказана, но всегда присутствует имплицитно, определяя реальное поведение членов сообщества. Данный подход тем самым указывает путь формирования историографии и основания для легитимации нарративных способов описания прошлого. Они будут строиться и исходить из тематизации заднего плана нарративов, конституирующих бытие сообщества.

Однако путь, предложенный Карром, дает повод к возражениям и дискуссиям. Стоит выделить тезисы оппонентов, наиболее значимые для развития нашей темы. Первое, более фундаментальное, возражение напрямую затрагивает тезис о нарративности человеческого бытия. Как отмечает один из критиков, если бытие нарративно, то «нет описания нарративной структуры, которое не обращается в конечном счете к идее сюжета» [7. С. 159]. Но поднять этот вопрос – значит поднять и следующий – «кто создал его, как, когда и для кого» [7. С. 159–160]. Согласно этому возражению либо вначале, до всех историй, должен существовать рассказчик, создавший рассказы, конституирующие человеческое бытие, либо тезис о нарративности реальности остается всего лишь метафорой. Очевидно, что ни один из вариантов не является приемлемым ни для творцов концепции нарративности социальной реальности, ни для ее критиков.

Второе возражение касается вопроса об онтологическом истоке исторического осмысления прошлого. Понятно, что его определение будет задавать и определение природы и функций исторического знания. Основная мысль Карра состоит в утверждении, что историки «живут в среде, в которой само общее повествование уже существует» [1. С. 169]. Это означает, что историческая тематизация возможна только потому, что сообщество, в котором она осуществляется, уже имеет нетематизированное прошлое, которое для самого сообщества выступает контекстом их бытия, а для историков становится логически изначальным объектом рефлексии и исторического письма. Но именно стремление представить нарратив, конституирующий идентичность «Мы» как парадигму для формирования исторического познания, вызывает вполне обоснованные сомнения.

Прежде всего, как отметил знаменитый творец идеи исторического объяснения У. Дрей, интерпретация событий далекого прошлого собственного общества в качестве условия, конституирующего его современное состояние, стирает грань между написанием истории и производством мифа [8. С. 167]. То, что нарративная самоидентификация сообщества требует апелляции к порождающему это сообщество событию прошлого, несомненно. Но из это-

го не следует, что предки того или иного сообщества должны быть тождественны предшественникам, конституирующим его идентичность, или просто являться предками в силу того, что проживали на том же месте, где сообщество проживает теперь. К этому можно добавить, что если событие прошлого трактуется как конституирующее, то основания его интерпретации будут predeterminedены и отнюдь не нормативами научности.

Следующее возражение касается вопроса о способах описания истории чужих сообществ. Если историческая мысль возникает только в контексте нарратива, призванного обеспечить идентичность сообщества, то «хороший нарративный историк будет пытаться освоить «изнутри» нарративно структурированную жизнь социальной группы, иной, чем его собственная» [8. С. 167]. Это возрождает либо сомнительную методологию «вживания», либо мета-нарративы, которые призваны вписать все группы в человечество с соответствующим всемирно-историческим уровнем идентификации. Наконец, встает вопрос, что может быть основанием для исторического анализа сообществ, конституированных не «изнутри», а «извне», или объектов, реконструированных задним числом в ходе исследовательской деятельности. Ведь очевидно, что сами древние греки не идентифицировали себя с рабовладельческой общественно-экономической формацией К. Маркса или аполлонической культурой О. Шпенглера.

Как в итоге можно оценить и позицию самого Карра, и вдвинутые против нее возражения? Если избрать путь анализа, то он может быть выражен фразой «предпосылки верны, но следствия ошибочны». Что это означает? Прежде всего, то, что стоит полностью согласиться с его утверждением о нарративной организованности социальной реальности. Онтологическое основание для этого мы можем обнаружить в специфике человеческого бытия, а именно в целесообразном характере собственно человеческих действий.

Во-первых, целесообразность предполагает такую структуру действия, которая аналогична структуре нарратива. Понятно, что целесообразное действие требует наличия цели, последующих действий по ее осуществлению и фиксации достигнутого результата.

Во-вторых, целесообразность означает, что поведение людей обуславливается уже не только не природными нуждами, а продуктами человеческого воображения и направлено либо на их реализацию, либо на действия в соответствии с ними. Но данные продукты отнюдь не воспринимаются тем, кто их реализует, в качестве иллюзий. Когда индивид отдает свою жизнь ради спасения родины, то демонстрирует этим поступком признание реальности ее существования, хотя такая предметность, как родина, естественно, не дана в непосредственном восприятии. Тем самым то, что называется реальностью, по крайней мере социальной, может существовать и осуществляться только в формах ее понимания или наполненности смыслом, который, в свою очередь, является продуктом воображения (хотя и произвольным).

В-третьих, все вышеописанное вполне применимо не только к индивидуальным актам, но и к коллективным действиям, социальным институтам и иным формам социальной организации общества, что обеспечивает более широкий пространственный охват и темпоральную протяженность социальных нарративов.

Наконец, полагание нарративности социальной действительности отнюдь не требует, чтобы сами индивиды обязательно осознавали всю полноту ее устройства, а уж тем более рефлексировали над ним. Индивид может и не догадываться о том, что его поведение «сверхдетерминировано» событием (например, войной), происшедшим задолго до его рождения. Поэтому характер и смысл организации социальной действительности мы можем определять по характеру действий, а не по мнениям индивидов о себе.

Вот почему не будет ничего экзотического в утверждении, что нечто, именуемое «социальной реальностью», представляет собой лишь один из видов дискурсов или текстов, конфигурированных посредством нарративной структуры. Поистине нет ничего внешнего тексту. И дело здесь не в том, что встреча с подлинной реальностью постоянно откладывается или заслоняется ее описаниями, а в том, что она, во-первых, становится реальностью только посредством дискурсивизации, а во-вторых, устроена и функционирует по тем же правилам, что и дискурсы о ней. Вот почему, как подчеркивал в свое время М. Фуко, «лингвистика... не является лишь теоретическим пересмотром знаний, полученных где-то в других местах, или интерпретацией уже осуществленного прочтения явлений; она не предлагает «лингвистической версии» фактов, наблюдаемых в гуманитарных науках, но она является принципом их первоначальной расшифровки...» [9. С. 399]. Если же говорить о своеобразии «реальности», то состоит оно в том, что дискурс, именуемый «социальная реальность», стремится выдать себя за наиболее привилегированный тип дискурса или просто скрыть свою текстуальную природу.

Отсюда вытекают принципиальные следствия. Прежде всего, становится возможным изменить перспективу понимания определенного типа объектов, а именно осознать, что так называемая действительность не представляет собой сумму разрозненных фактов или событий, которые затем задним числом связываются в целое. Этот весьма распространенный подход, по сути, является неудачным и подталкивает к тому, чтобы любые формы конфигурации сводились к вымыслам. Скорее «реальность» следует рассматривать как совокупность, пересечение, наложение (и иные типы комбинаций) тех или иных конфигураций. Тем самым стирается непреодолимая грань, противопоставлявшая пресловутую действительность способам ее описания. С данных позиций действительное различие между ними следует искать лишь в различии конфигуративных принципов.

Мы к тому же получаем парадигму для критики окружающей нас действительности. Нетрудно заметить, что экспликация дискурсивной природы социального мира явится способом разоблачения его притязаний на естественность, укорененность, изначальность. Это обстоятельство позволяет нам расставить акценты в теме авторства и осужечивания, которые стали поводом для критики идей Карра. Для начала отметим, что в нарратологии давно получило признание утверждение о том, что введение фигуры автора обусловливается не установками здравого смысла (например, тем, что у любого произведения должен быть автор), а решением определенных теоретических и методологических задач. Поэтому только характер вопросов, поставленных сообществом исследователей, определяет, будет ли данная фигура вводиться в игру. Так, у произведения может быть всеми признанный автор, но

он не востребуется, если этого не требует исследовательский подход. И наоборот, автор может быть в принципе неизвестен, но он будет фигурировать как необходимый объяснительный принцип.

Сошлемся на мысль известного израильского нарратолога Ш. Риммон-Кенан о том, что фигуру автора следует трактовать как «конструкт, извлекаемый и собираемый читателем на основании всех составляющих текста...» [10. С. 88]. Но тогда она фактически превращается в «набор имплицитных норм», который должен быть лишен всяких антропоморфных истолкований и, как следствие, «извлекается» в ходе чтения [10. С. 88–89]. Как справедливо отмечал Фуко, ставший одним из творцов данной установки, имя автора предназначено быть функцией [11. С. 21]. Скорее, это обозначение ряда операций, которые можно или необходимо осуществить по отношению к определенному типу дискурсов, в частности, для их рассечения, селекции и группировки. «Оно обнаруживает событие некоторого ансамбля дискурсов и отсылает к статусу этого дискурса внутри некоторого общества и некоторой культуры» [11. С. 22].

Если опереться на данные идеи, то можно утверждать, что автор - это всего лишь позиция, задаваемая структурой дискурса и обычно обнаруживаемая задним числом. Так критику устройства существующей социальной реальности мы начинаем с экспликации ее дискурсивной (нарративной) природы, т.е. открываем ее организованность и концептуализацию вплоть до присутствия в ней повествований в буквальном виде, составленных в соответствии с определенным интересом. Но, что есть констатация такого интереса как не определение авторства. Правда выступает таким автором не конкретный индивид, а класс, сословие и т.д. А уж что касается осюжеченности, в частности включения в состав повествований подобного рода описания препятствий, которые придется преодолеть на пути реализации той или иной цели (построения светлого будущего, к примеру), то здесь вообще нет ничего оригинального.

Итак, мы можем утверждать, что тезис о нарративном устройстве социальной реальности не только не является метафорой, но предоставляет эффективную парадигму как для обсуждения проблематики исторического познания, так и для понимания природы социального бытия в целом. Что касается вопроса о том, кто был первоначальным автором или рассказчиком нарративов, конституировавших человеческое бытие, то по глубине, эвристичности и решаемости он сродни вопросам о том, чтобы было в начале: материя или дух, труд или сознание и т.д. К тому же, вряд ли кто будет спорить с тезисом о том, что человеческое бытие обусловлено культурными ценностями, но, тем не менее, никто не ставит вопрос о том, кто был их первоначальным автором.

Однако если утверждение Карра о нарративной организации социума вполне приемлемо, то этого нельзя сказать по поводу тех следствий, которые он пытается из него вывести. Как уже говорилось выше, рождение самой историографии он связывает с экспликацией того удаленного и дотематизированного прошлого, которое является составной частью нарратива, конституирующего сообщество. Грубо говоря, по его мнению, историческая мысль рождается с рефлексии над происхождением тех сообществ, внутри которых

пребывает историк. В ответ на критические замечания на сей счет Карр соглашается с тем, что деятельность историков, конечно, не сводится к простой экспликации того, что уже имплицитно содержалась в нарративах, конституирующих сообщество. Он присоединяется к позиции, отстаиваемой А. Данто и другими философами истории, что «историк не только способен, но обычно не может избежать описания прошедших событий в свете их фактических последствий» [12. С. 201].

Как нам представляется, подлинная трудность не в том, что подход Карра не учитывает как многообразия, так и своеобразия исторического дискурса. Его взгляд на происхождение историографии в принципе не может доставить парадигмы, которая могла бы дать приемлемое толкование условий как рождения историчности человеческого бытия, так и самой исторической мысли. Дело, конечно, не в споре о том, о чем повествовали первые исторические сочинения. Дело в определении места и функций прошлого в структуре нарратива. Для этого вспомним и проведем аналогию с разведением ретенции, или первичной памяти, и воспоминания, или вторичной памяти. Ретенция, как известно, является необходимой составной частью конституирования целостности любого объекта. Воспоминание также содержит ретенциальную часть, но само отнюдь не является чем-то необходимым. Это означает, что прошлое в структуре нарратива, конституирующего бытие общества, аналогично ретенции и поэтому является не столько историей, сколько современностью, несмотря на степень его хронологической удаленности от точки «теперь» и возможной отрефлектированности. Чтобы прошлое стало историей, оно должно перестать быть частью настоящего, дистанцироваться от него и превратиться в самостоятельную целостность. Как правило, происходит это в свете осознания не самого факта хронологической удаленности тех или иных событий, а непредвиденных последствий, порожденных ими.

Если это так, то историчность бытия, как и собственно историческая мысль, рождается отнюдь не в ходе темпорального растяжения и экспликации нарративов, конституирующих идентичность сообществ. Скорее в основе формирования исторической мысли должны лежать провалы в поисках такой идентификации, потому что именно они могут изменить взгляд сообщества на «учреждающее событие» или на прошлое, которое ранее воспринималось как место и время создания его идентичности. Иначе говоря, когда мы понимаем, что не являемся «детьми революции, призванными строить светлое будущее», создается возможность увидеть событие революции в ином ракурсе (в свете неожиданного, а для современных обществ идеологически подавляемого финала), а именно превратить его в прошлое и приписать ему иные функции, нежели право быть условием создания идентичности. Более того, именно провалы в идентификации заставляют расширять контекст восприятия мира в целом и прошлого в том числе как в поисках новых форм идентификации, так и приобретения опыта в решении этой проблемы. Поэтому если позиция Карра и открывает путь для исторического осмысления социального мира, то только в направлении создания метанарративов, что вынужден признать он сам, несмотря на все оговорки по поводу их эвристичности, соответствующие скептическому духу нашего времени.

«Это не значит говорить, что целое мировой истории расстилается перед нами или что оно конституирует, словами Минка, историю уже написанную и просто ожидающую, чтобы быть рассказанной. Но, несомненно, в самом общем смысле ее нарративные контуры являются априорными по отношению к любой отдельной исторической работе и обеспечивают рамку, внутри которой последняя имеет место» [1. С. 174].

Позиция Карра подталкивает и к определенным эпистемологическим выводам, в частности порождает упрек в восстановлении корреспондентской концепции истины. Действительно, если считать, что реальность нарративна, то исторический нарратив получит право на существование не только как чисто дискурсивный продукт, но и как отражение сущностных свойств самой социальной реальности. Тогда критерием определения значимости или достоверности, а значит предпочтительности одного нарратива перед другим, придется считать процедуру его соотнесения с некоторой экстралингвистической сущностью, а именно с так называемой реальностью.

Выход нами видится в следующем. Представляется, что следует полностью согласиться с тезисом Карра о том, что нарративы, описывающие социальную реальность, не должны быть чужды ее устройству. Но это отнюдь не означает, что знание о мире должно являться его отражением. Если и следует говорить о соответствии, то лишь как о согласованности нарративов, поскольку то, что мы называем реальностью, является лишь одним из видов нарративов. Суть этой согласованности можно представить следующим образом. Это не целостная систематизированная картина социальной реальности или то, что постмодернистски ориентированные философы называют метанарративами, а историки именуют «историческим синтезом». Вполне допустимо и даже необходимо, чтобы имели место различные или противоречащие друг другу интерпретации тех или иных значимых событий. Так, революцию 1917 г. можно представить в модусе трагическом, а можно и в модусе ироническом. Но и тот и другой модусы сохраняют свою нарративную природу, а сохраняют они ее, как сказал бы Х. Уайт, «просто потому, что историки разделяли со своей публикой определенные предрассудки по поводу того, как революция могла быть представлена, в соответствии с требованиями, которые по существу были внеисторическими, идеологическими, эстетическими или мифическими» [13. С. 48]. Суть согласованности в том, что если мы принимаем онтологию, построенную на принципе историчности человеческого бытия, то было бы странным сохранять в ее рамках формы знания, построенные на совершенно иных принципах. Конечно, последние могут существовать, но уже на уровне конкурирующих онтологий. Если это так, то очевидно, что дискурсы, описывающие те или иные аспекты человеческого бытия или содержащие проекты такого бытия, не должны противоречить дискурсам, настаивающим на нарративной специфике человеческого существования.

На этом основании можно говорить об эпистемологическом статусе исторических нарративов. Право быть нарративами они получают не потому, что адекватно отражают нарративность самого исторического мира. Опуская подробное обоснование, подчеркнем, что историческое осмысление прошлого рождается задним числом, когда мы полагаем, что можно говорить и на-

стаивать на появлении и экспликации неожиданных последствий тех или иных событий или процессов. А потому историческое понимание приобретает нарративную природу как следствие нашего осознания границ и возможностей человеческого бытия и форм знания, им соответствующих. Поэтому в контексте дискуссий о природе исторического знания можно выдвинуть тезис о том, что оно, конечно, не является реконструкцией исчезнувшего прошлого, если под словом «реконструкция» понимается описание того, «как было на самом деле». В свете осознания того факта, что прошлое превращается в историю задним числом, сама фраза «как было на самом деле» утрачивает смысл. Если историческое знание и следует мыслить как реконструкцию, то лишь с позиции данности нам прошлого в виде следов, остатков, разрозненных свидетельств, естественно, требующих своего достраивания до целостного повествования.

С философской точки зрения понимание прошлого как истории задним числом является ярким свидетельством специфики человеческого бытия, а именно преобразовательного отношения к миру. А это означает, что социальный мир нуждается в познании, не столько его отображающем, сколько выявляющем объекты, подлежащие преобразованию. Поэтому, не вдаваясь в подробные разъяснения, подчеркнем, что для того, чтобы хоть как-то представить себе знание, отражающее мир, следовало бы отказаться от того, что конституирует само человеческое бытие, а именно от деятельностного отношения к миру. Если подходить с позиций нашего понимания характера социальной реальности и человеческого бытия в целом, то следует полагать, что историческое знание, как и знание в целом, по сути, есть *реконфигурация*, так сказать, первичных нарративов, и возникает оно в процессе и посредством рассеивания, разрушения и перекомбинирования нарративов, это бытие создающих, хотя и не всегда тематизированных.

Конечно, наш мир мы осознаем и концептуализируем, т.е. представляем себе в виде не разрозненных фактов, а более или менее целостных повествований с началом (происхождением), серединой (осуществлением) и предполагаемым результатом. В таком мире мы живем, и в таком виде мы подаем (вербализуем, описываем) его самим себе. Но очевидно, что даже если эти повествования сохраняются в будущем в целостном виде, то, когда они станут объектом исторической мысли, то будут перекомбинированы в иные нарративы в свете событий, для нас еще не свершившихся. Как представляется, именно в этом смысле исторические нарративы могут и должны соответствовать нарративному пониманию социального бытия в целом.

Литература

1. Carr D. Time, Narrative, and History. Indiana Univ. Press, 1991.
2. Mink L. O. Historical Understanding. Cornell Univ. Press, 1987.
3. Kreiswirth M. Tell Me a Story: The Narrativist Turn in the Human Sciences // Constructive criticism. The Human Sciences in a Age of Theory / Ed. by M. Kreiswirth and T. Carmichael. Univ. of Toronto Press, 1995. P. 61–87.
4. Гуссерль Э. Собрание сочинений. Т. 1: Феноменология внутреннего сознания времени. М., 1994.
5. Мерло-Понти М. Временность // Историко-философский ежегодник '90. М., 1991. С. 271–293.

6. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997.
7. Norman A.P. Historical Narrative on Their Own Terms // *History and Theory: Contemporary Reading* / Ed. By B. Fay, Ph. Pomper and R.T. Vann. Blackwell Publishers Ltd., 1998. P. 153–171.
8. Drey W.H. Narrative and Historical realism // *The History and Narrative Reader* / Ed. by G. Roberts. Routledge, 2001. P. 157–180.
9. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994.
10. Rimmon-Kenan Sh. Narrative Fiction. *Contemporary Poetics*. 2nd Ed. Routledge, 2002.
11. Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности: Работы разных лет. М., 1994. С. 9–46.
12. Carr D. Getting the Story Straight // *The History and Narrative Reader* / Ed. by G. Roberts. Routledge, 2001. P. 197–207.
13. White H. Historical Text as Literary Artifact // *The Writing of History. Literary Form and Historical Understanding* / Ed. by R.H. Canary and H. Kozicki. The Univ. of Wisconsin Press, 1978. P. 41–62.